Проснулась я ни свет ни заря — не от шума и не от холода, а словно кто в бок толкнул: эй, подымайся, не валяйся, проспишь — не догонишь. Глаза открыла, а сон уж как ветром сдуло. Пол под ногами холодный, кусачий, будто нарочно — чтоб не зевала. Я ногами притопнула, плечами повела: ладно, ладно, встала, не ворчи. День нынче такой — сам не даст лежать. Дом уже не спал. Он, конечно, виду не подавал, но я-то знаю: если с утра тихо, да не глухо, значит, время с вывертом. Так бывает раз в год — всё на местах, а будто кто-то их чуть подвинул. Я усмехнулась: ну, здравствуй, Коляда, рано ты сегодня. К очагу пошла без раздумий. Где утро — там и огонь. Угли под золой красные, живые, словно глазки прищурили. Я золу раздвинула, подула, дровишек подложила — и огонь вспыхнул, да не зло, а весело, искрами прыснул, будто смеётся. Хорошо. Люблю, когда огонь с характером, но без дурости. Такой и согреет, и не подведёт. За водой пошла затемно, да не как сонная, а бодро. Колодец дохнул холодом — ух! — сразу кровь зашевелилась. Ведро руку потянуло, плечо заныла, а я только зубы сжала: ишь ты, проверяешь. Проверяй, не в первый раз. Вернулась, плеснула на пороге — нечаянно, да к месту. В такие дни вода не обижается, она сама любит бегать. Пол мела с размаху. Веник сегодня словно взбесился — цепляет, тянет, всё норовит под ноги вытащить. Я фыркнула: ага, знаю, знаю, весь год копили, теперь выгребаем. И выгребла. Не до чистоты зеркальной — до лада. Чтоб ходилось легко, чтоб дом не спотыкался. Кашу поставила рано. Не терплю в Коляду пустой огонь. Пусть варится медленно, как надо. Запах пошёл — ух, такой, что сразу жить захотелось. Дом будто задышал шире, потолок приподнялся, стены оттаяли. Вот это я понимаю — праздник начинается не с песен, а с запаха. Под лавку миску сунула — без слов, без поклонов. Домовому слова ни к чему, он не глухой. Пусть ест, если хочет, а если не хочет — всё равно видит: помню. А память в доме — вещь крепкая. Язык с утра берегла, но он всё равно вырвался. Сама не заметила как сказала, тихо, с усмешкой: ну, поехали. Кому сказала — не знаю. Да и знать не надо. Когда начало светать, вышла на крыльцо. Небо серое, но не злое, мороз сухой, бодрый, щёки щиплет — значит, живы. Дым из труб ровный, не крутит — у людей огонь держится, и это радует. Птиц мало, но есть — не перевелись. День не пустой. Вернулась, взялась за мелочь — ножи перебрала, крючья, инструмент. Не чинила, не начинала, а так, чтоб лежало ладно. В такие дни рука умнее головы: она знает, что можно, а что подождёт. Сегодня — подождёт. К полудню тело разогрелось, внутри всё гудит, как струна натянутая. Не тревога — азарт. Чувствую: утро прошло, да не зря. День распахнулся. И что бы он ни принёс — я готова.

День пошёл ходко, будто с утра разогнался и теперь не собирался сбавлять шаг. Солнце поднялось невысоко, но свету прибавилось, и он был не блеклый, а цепкий, живой, такой, что за всё хватается и всё подмечает. Я едва успела присесть да перевести дух, как дом снова начал принимать людей, и каждый нёс с собой свой кусок этого дня — шумный, смешливый, колючий или задумчивый. Заходили без стука, как водится, заглядывали с порога, кивали, бросали пару слов и уже этим словом что-то меняли в воздухе. Один попросил соли — не потому что не было, а потому что так принято в такие дни, чтобы не сидеть по углам, другой зашёл просто узнать, и разговор у нас вышел ни о чём и обо всём сразу, с прищуром, с усмешкой, с этим особым колядным «ну, сам понимаешь». Я отвечала быстро, не раздумывая, язык сегодня бежал впереди мысли, и это было к месту: скажешь лишнее — отшутится, не скажешь — тоже ладно, день всё равно своё возьмёт. Работы я себе нарочно не задавала тяжёлой, только мелочь — что подправить, что переложить, что на потом

отложить, и рука сама знала, где остановиться, будто кто-то тихо придерживал за запястье: не спеши, не нынче. Иногда я ловила себя на том, что просто стою посреди избы и слушаю, как день ходит вокруг, как за стенами скрипит снег, как где-то дальше перекликаются голоса, и от этого внутри поднимается нетерпение, не суетное, а весёлое, словно знаешь, что к вечеру всё развернётся по-настоящему. К полудню смеха стало больше, даже у тех, кто обычно держится сдержанно, лица разгладились, движения стали шире, разговоры — громче, и казалось, будто сама Коляда ходит меж людьми, подталкивает локтем, подмигивает: не зевай, день короток. Я вынесла на крыльцо кое-что из приготовленного — не напоказ, а чтобы дом не зажимал добро внутри, и сразу нашлись желающие заглянуть, попробовать, похвалить, пошутить, и всё это было не в тягость, а в радость, потому что в такие дни делиться — не убыток, а прибавка. Иногда в голове мелькала мысль, что времени вроде много, а вроде и нет, что часы сегодня идут как хотят, то ускоряясь, то вдруг замирая, и за этим надо следить, иначе прозеваешь нужный миг. Я ловила себя на том, что чаще выглядываю за дверь, чем нужно, прислушиваюсь к шагам, к смеху, к далёким песням, которые то появлялись, то пропадали, словно дразнили. К середине дня тело уже жило в другом ритме, не утреннем, не вечернем, а каком-то переходном, когда силы есть, но они требуют выхода, и сидеть спокойно становится почти невозможно. Даже воздух в избе казался плотнее, насыщеннее, и в нём чувствовалось ожидание, как запах перед дождём, только вместо дождя — праздник. Я знала, что ещё немного, и день начнёт клониться, и тогда уже нельзя будет отсиживаться, но пока позволяла себе этот промежуток — поговорить, посмеяться, перебрать дела, почувствовать, как всё вокруг медленно, но верно собирается в одну точку. И чем ближе было к вечеру, тем яснее становилось: день удался, он не распался на пустые часы, не рассыпался, а держался цельно, с натяжкой, с огоньком, и это значило, что дальше — будет только гуще.

К вечеру день не просто клонился — он наливался, как яблоко перед падением, и это чувствовалось во всём: в руках, что стали делать резче, в шаге, что сам собой ускорился, в словах, что перестали тянуться и начали резать коротко, по делу. Я ещё с полудня знала — к закату покоя не будет, но только теперь это знание вошло в тело, как входит холод, не сразу, а постепенно, пока не станет ясно: сидеть больше нельзя. Я принялась за дом без суеты, но и без лени, убирая не ради чистоты, а ради лада, чтобы ничто не путалось под ногами, не цепляло взгляд, не отвлекало, когда придёт пора выходить. Лишнее отодвинула, нужное поставила под руку, проверила, не скрипит ли дверь, не качается ли лавка, не торчит ли где щепка — в такие часы мелочь легко становится большой помехой. Дом отзывался охотно, словно понимал, что я делаю, и сам подтягивался, становился строже, собраннее, будто и ему предстояло дело, а не просто ждать хозяйку назад.

Одежду выбирала долго, не из привередства, а из чувства меры: чтоб тёплая была, да не тяжёлая, крепкая, да не сковывающая, чтоб и идти легко, и стоять долго, и смеяться, не думая о холоде. Пояс затянула плотнее обычного — так надёжнее, так тело чувствует себя собранным. Волосы убрала тщательно, не на скорую руку, потому что знаю: если в Коляду волосы лезут в лицо, весь вечер будешь дергаться и злиться без причины. Пока собиралась, сердце билось чаще, и это было не беспокойство, а подъём, тот самый, от которого хочется выйти наружу и проверить, как там мир — готов или ещё тянет время.

С улицы тянуло голосами задолго до того, как я вышла. Смех был разный: где хриплый, где звонкий, где с насмешкой, где просто от полноты груди. Кто-то уже начинал тянуть песню, сбиваясь, перехватывая дыхание, кто-то перекрикивался, кто-то ругался для смеха — всё это сплеталось в один шум, живой, неровный, но тёплый. Я вышла на крыльцо, вдохнула морозный воздух — сухой, острый, честный, от которого сразу яснеет голова и теплеет внутри, и мне показалось, что даже небо стало ниже, словно нагнулось поближе, посмотреть, как люди встречают поворот года.

Люди сходились без зова и без счёта. Кто в личине, кто с мешком, кто с пустыми руками, но с готовым языком. Лица румяные, глаза блестят, движения широкие, никто не жмётся и не оглядывается лишний раз. Шутки летели грубые, но без злости, плечами толкались для смеха, и если кто спотыкался, его тут же подхватывали, не давая упасть, потому что в такую пору падать — плохая примета, а смеяться над падением — хорошая. Я заметила, что и сама говорю громче обычного, смеюсь легче, и тело словно сбрасывает с себя весь год, как старую шкуру, становясь легче, подвижнее, свободнее.

Оглянулась на дом — он стоял тихо, не тянул, не звал, и я поняла: не обиделся. Это важно. Обиженный дом потом долго припоминает. Я кивнула ему про себя и шагнула дальше, туда, где уже разжигали огонь. Костры брались охотно, будто дрова сами ждали этого часа, искры взлетали высоко, тени по снегу прыгали, кривлялись, вытягивались в рост и тут же ломались, и в этом плясе было что-то такое, от чего внутри становилось весело и немного щекотно, как перед хорошей дракой или пляской.

Говорить стали меньше, смеяться — больше. Кто-то поправлял личину, кто-то подтягивал мешок, кто-то проверял, не вывалилось ли угощение. Шум густел, но не расползался, держался плотной кучей, как стая перед бегом. Я ясно почувствовала: вечер кончился. Не по времени — по сути. Всё, что можно было приготовить, приготовлено, всё, что можно было проверить, проверено. Дальше — не ожидание, а ход.

И этот короткий миг, когда мы ещё стояли, но уже не принадлежали месту, я прожила целиком, до последнего удара сердца, потому что знала: дальше будет шумно, весело, странно, местами нелепо, местами опасно, но назад уже никто не пойдёт, пока ночь не возьмёт своё.

Когда мы двинулись, ночь уже стояла крепко, не шаталась и не думала отступать, будто решила досмотреть всё до конца. Снег под ногами скрипел звонко, шаги сбивались, смех перекатывался, и дым от костров тянулся следом, цеплялся за одежду, за волосы, за дыхание, так что вскоре все пахли одинаково — гарью, морозом и живым человеческим теплом. Песни пошли сразу, не стройно и не чинно, а как вырвется, так и ладно: один тянет, другой подхватывает, третий сбивается, но никому до этого нет дела, потому что важно не как поёшь, а что идёшь вместе. Личины мелькали, рога качались, тряпьё хлопало на ветру, и под всем этим шумом было ясно — сейчас можно быть не тем, кем был весь год, и за это никто слова не скажет. Подойдём к воротам — и язык сам собой становился колядным, звонким, с прикусом. Кто-нибудь первым выкрикивал, не выжидая: «Ой, хозяин-батюшка, не спи, не дремли,

отворяй ворота — Коляда пришла!» — и тут же топот, смех, чтоб слышали изнутри, чтоб знали: не воры, не злые, свои. Если дверь открывалась быстро, подхватывали сразу, не давая тишине встать: «Твоему дому — добра, твоему двору — лада, твоему скоту — приплоду, тебе самому — года полного, не пустого», и говорили это с нажимом, будто вдавливали слова в порог, чтобы держались. Если хозяин выходил хмурый, кто-нибудь обязательно добавлял с хитринкой: «Не хмурься, хозяин, в Коляду хмурость к весне зарастает», — и смех снимал остроту, как ножом срезали.
Где принимали радостно, там языки распускались вовсю: «Чтоб у тебя жито стеной стояло, чтоб дети по лавкам не помещались, чтоб деньги водились, а беда дорогу забыла», — и каждый норовил вставить своё, перекрывая другого, и слова накатывались одно на другое, как волна на волну. Хозяйкам желали отдельно, не тише мужиков: «Тебе, хозяюшка, рук лёгких, хлебов мягких, да чтоб слово в доме слушалось», — потому что все знали, на ком лад держится. Дети визжали, подпрыгивали, повторяли за старшими, путая слова, но их не одёргивали — детский голос в Коляду крепкий, он год замешивает.
Если дверь не открывали, не злились. Оставляли слово на косяке, громко, на весь двор: «Кто Коляду не пускает — тот сам потом ищет», — и шли дальше, потому что в такую ночь нельзя застревать. Иногда поддевали нарочно, для смеха: «Хозяин, хозяин, выноси пирог, а не то сон твой утащим!» — и хохот, чтобы ясно было: не со злом, а для оживы.
Дым стоял густой, ел глаза, забивался в горло, но никто не жаловался. Наоборот — смеялись, кашляли, плевались в сторону и шли дальше, потому что без дыма праздник не праздник. Огонь трещал, искры летели вверх, тени по снегу прыгали, вытягивались и ломались, будто кто-то невидимый плясал рядом. Иногда мне казалось, что среди наших шагов есть ещё один — лишний, не в такт, но я не оглядывалась: в такую ночь, если оглянуться, можно увидеть больше, чем нужно.
К середине ночи шум стал плотным, тяжёлым, как валяная ткань. Слова путались, песни рвались, смех накатывал волнами. Кто-то спотыкался — его подхватывали, кто-то падал и тут же вскакивал, отряхиваясь и хохоча, будто и не падал вовсе. Личины сползали, их поправляли или срывали, но лица под ними были не тише — глаза блестели сильнее, чем днём.
Гадать начали, когда шум немного осел. Сошлись ближе к огню, дым тянулся между нами, как занавес, и в нём всё виделось иначе. Кто-то бросал, кто-то слушал, кто-то спорил, каждый видел своё. Кто смеялся — был прав. Кто вдруг замолкал — тоже. Даже те, кто не верил, стояли рядом, потому что в такую ночь отставать от хода — худшее из неверий.
Я чувствовала, как внутри всё смешалось — усталость, веселье, ровное спокойствие, будто мир позволил нам быть шумными и не спросил платы. Дым щипал глаза, холод кусал пальцы, голос садился, но уходить не хотелось. Было ясно: пока ночь держит, надо идти с ней, иначе потом долго будешь догонять.
И только когда огонь начал оседать, когда песни стали реже, а смех глуше, я поняла — праздник взял своё. Не всё, но достаточно. Остальное ночь оставила себе.

Под самый разгар, когда дым уже ел глаза, а смех стал хриплым, случилось то, за что Коляду и любят, и побаиваются. Мы как раз вышли со двора, где нас накормили так щедро, что мешок тянул плечо, и кто-то впереди вдруг заорал не своим голосом. Не от боли — от неожиданности. Мы все дёрнулись разом, как куры под ястребом, а потом

увидели: у ворот стоит что-то косматое, длинное, в рогах, и молчит. Не прыгает, не смеётся — просто стоит и смотрит.
Кто-то хмыкнул: «Ой, матушки…»
Кто-то прыснул: «Это кто ж так вырядился, что сам себя забыл?»
А оно как шагнёт вперёд — медленно, неровно, будто ноги не свои. И тут уж завизжали по-настоящему, но больше от смеха, чем от страха, потому что уж больно нелепо оно шло, задевая рогами за косяк.
Я крикнула, не думая: «Эй ты, страшилище, али дорогу потерял?»
А оно в ответ — молчит. Только голову наклонило, да так, что тень по снегу вытянулась, словно вдвое больше стала.
Тут один из наших, самый смелый на словах, шагнул вперёд и как рявкнет: «А ну, нечисть, ступай отсюда, пока цел!»
И в тот же миг «нечисть» чихнула. Громко, с присвистом. Рога дёрнулись, личина съехала набок — и из-под неё вылезло знакомое лицо, красное от холода и смеха.
Мы согнулись пополам. Кто упал на снег, кто за живот схватился. Кто-то орал: «Вот уж напугал, зараза!» — а кто-то смеялся так, что слёзы текли. Сам «страшилище» тоже смеялся, сопли вытирал рукавом и оправдывался: «Да я ж пошутить хотел…»
Но смех смехом, а после этого шли тише. Не потому что испугались — просто вспомнили: в такую ночь шутки шутками, а не всё тут наряжено людьми. Кто-то сплюнул через левое плечо, кто-то буркнул приговорку, а кто-то сказал: «Ну, теперь точно отстали», — и все почему-то сразу поверили.
И ещё долго потом, когда тень от костра ложилась криво или шаг где-то сбивался, кто-нибудь обязательно начинал хихикать и говорить: «А ну, не пугай, мы тебя уже видели». И от этого становилось легче, потому что самый лучший страх — тот, над которым смеёшься.

Когда праздник начал редеть и шум осел, мы тронулись обратно не сразу — постояли, переглянулись, будто проверяя, все ли на месте и никто ли не потерялся по дороге в смехе и дыму. Шли уже не гурьбой, а плотной связкой, ближе друг к другу, потому что ночь к тому часу стала иной: не весёлой и не пугающей, а настороженной. Снег под ногами больше не скрипел радостно, а шуршал глухо, словно сам не хотел лишнего звука. Дым остался позади, и воздух стал чистым, колючим, от него мороз проходил прямо в грудь, и каждый вдох чувствовался отчётливо, будто счёт вёл.
Говорили мало. Если и смеялись — коротко, тут же замолкая. Силы начали выходить, и вместе с ними пришла эта особая тишина после гулянья, когда тело ещё горячее, а голова уже холодная. Шорохи стали слышны сразу. То с одной стороны, то с другой, будто кто-то осторожно идёт параллельно, не показываясь. Кто-то сплюнул, кто-то пробормотал приговорку, кто-то нарочно громко кашлянул, чтобы дать знать: не боимся. Но шаг всё равно ускорился.
В одном месте что-то резко хрустнуло в стороне, и мы все дёрнулись разом, как по нитке. Сердце подпрыгнуло, у кого-то вырвался смешок, нервный, слишком громкий, а потом оказалось — ветка. Конечно, ветка. Всегда ветка. Но после этого никто не стал шутить, только плотнее запахнули одежду и пошли быстрее. Шорохи не отставали. Не приближались, не догоняли — просто были. И это было хуже всего.
Я поймала себя на том, что считаю шаги, потом перестала — плохая привычка. В такие часы лучше идти и не мерить. Иногда казалось, что впереди мелькает тень, но стоило приглядеться — и она исчезала. Иногда казалось, что кто-то идёт сзади, но

оборачиваться никто не хотел. Мы будто молча договорились: если не смотришь — значит, не звали.
Где-то совсем рядом вдруг ухнула сова, так неожиданно, что у одного из наших вырвалось крепкое словцо, и тут же все расхохотались, слишком громко, слишком долго, потому что смех в тот миг был спасением. После этого стало легче. Шорохи никуда не делись, но перестали давить, будто поняли — их услышали, и этого довольно.
Дальше дорога пошла знакомая. Снег был примят нашими же следами, тьма уже не казалась такой густой, и усталость навалилась всерьёз, тёплая, тяжёлая, честная. Хотелось уже не приключений, а порога, огня, тишины. Радость была негромкая, но крепкая: мы прошли, мы вернулись, ночь не зацепила никого по-настоящему.
И когда впереди показались первые тени домов, стало ясно — дальше будет проще. Шорохи остались позади, как остаётся за спиной разговор, который не стоит продолжать. Ночь ещё смотрела, но уже не шла следом. И это было лучшим знаком из всех.

Когда мы разошлись, ночь будто выпрямилась и стала шире. Я пошла одна, не торопясь, потому что спешка в такие часы только путает шаги. Луна стояла полная, круглая, белая, как выскобленная чаша, и свет от неё был не тёплый и не холодный, а ровный, будто всё вокруг показали без тени, но при этом каждая тень стала глубже. Снег под ногами серебрился, и каждый мой шаг был виден ясно, будто я шла не по земле, а по воде. Я пару раз нарочно сбилась с тропы, шагнула в сторону, потом вернулась — не потому что потерялась, а потому что хотелось проверить, идёт ли кто следом. Никто не шёл. Или шёл так, что не хотел, чтобы я знала. От этого было не страшно, а щекотно, как в детстве, когда играешь в прятки и почти уверен, что тебя видят.
Шорохи не пропали, но стали другими. Не резкими, а будто осторожными, словно ночь сама перебирала складки. Где-то хрустнул наст, где-то осыпался снег с ветки, и каждый такой звук я встречала спокойно, даже с усмешкой, мол, знаю тебя, пугай кого помоложе. Один раз тень от дерева вдруг дёрнулась так, будто шагнула мне навстречу, и сердце у меня ёкнуло, но я тут же рассмеялась тихо, сама над собой. В такую ночь страх долго не держится — он либо сразу хватает, либо уходит, оставляя после себя бодрость.
Дом показался внезапно, хотя я знала, где он стоит. Просто в какой-то миг лунный свет лег на крышу так ровно, что она будто выросла из темноты. Окно светилось — маленько, спокойно, без мигания, словно глаз, который не закрывался. Я остановилась у калитки, не потому что боялась войти, а потому что так положено: с дороги сразу в дом не вваливаются. Постояла, вдохнула, дала ночи отстать. Потом толкнула — калитка скрипнула, но не громко, будто узнала.
Двор встретил меня тишиной, знакомой до последнего угла. Снег лежал нетронутый, мои же следы вели к крыльцу, и от этого стало вдруг очень хорошо — значит, никто не шастал, никто не лез, всё на месте. Я поднялась, коснулась рукой двери, как касаются живого, и вошла. Внутри было темнее, чем снаружи, но не глухо. Огонёк в очаге тлел, дышал ровно, и от него шёл такой тёплый, домашний свет, что плечи сами опустились. Я закрыла дверь, и ночь осталась по ту сторону, не обиженная, просто отделённая. Сняла одежду медленно, не торопясь, будто каждое движение должно было поставить точку. Усталость навалилась сразу, мягкая, тяжёлая, и в ней было больше радости,

чем боли. Казалось, если сейчас прислушаться, можно услышать, как в стенах ещё держится смех, как под лавкой кто-то тихо шевельнулся и снова затих, довольный.
Я подошла к очагу, присела, погрела руки, и на миг мне показалось, что тень за моей спиной качнулась, словно кто-то прошёл мимо и не стал мешать. Я не обернулась. Просто сказала тихо, почти шёпотом: «Хватит на сегодня». Огонёк мигнул, успокоился, и дом окончательно принял меня.

Я ещё немного посидела у очага, давая тишине окончательно осесть, и только тогда потянулась к щепе — без спешки, без мысли, словно так и должно было быть. Подкинула щепку, не ради тепла, а ради порядка, и пламя на миг вспыхнуло, осветив стены, знакомые до каждой тени. Дом был цел, я была дома, и это знание улеглось внутри, как камень на дно реки. Радость пришла тихо, без смеха, но крепкая: праздник прошёл, ночь не взяла лишнего, всё осталось на своих местах.
Лёжа, я ещё долго слушала, как дом живёт своей ночной жизнью: где-то щёлкнет дерево, где-то вздохнёт огонь, и в этих звуках не было угрозы, только память. Сон подкрался мягко, укутал, и перед тем как совсем провалиться, я подумала, что завтра всё будет как обычно — работа, слова, заботы, — но под этим обычным ещё долго будет тлеть маленький уголёк Коляды, напоминая, что мир не только строгий, но и живой, и иногда позволяет пройти по самой кромке тьмы — и вернуться.
И с этой мыслью ночь меня отпустила.
Луна ещё долго светила в окно, ровно и спокойно, но её свет уже не тревожил. Я была дома. Ночь осталась снаружи. И всё, что должно было случиться, уже случилось.